



Topographic Hierarchy: an Interdisciplinary Study of Mental Space in the Perspective of Topographic Preferences

Sergey A. Troitskiy (a) & Alexey O. Tsarev (b)

(a) Estonian Literary Museum. Tartu, Estonia. Email: [sergei.troitskii\[at\]folklore.ee](mailto:sergei.troitskii@folklore.ee)

(b) St. Petersburg State University. Saint Petersburg, Russia. Email: [ilovenewwave\[at\]mail.ru](mailto:ilovenewwave@mail.ru)

Abstract

The article differs from the usual scientific articles, since it refers to the genre of the pre-project that is rarely published in journals related to the social sciences. The pre-project contains the results not of the study as a whole, but of its preparatory stage. A thorough study of the hypothesis, scientific problem, methods, research boundaries, as well as the possibility of object transformation and practical applicability are developed before launching a research project and need extensive discussion from colleagues who are not involved in the research. It is important especially if the project claims to be global in scope. This article just offers to discuss the main provisions of the future study of topographic preferences. It is planned to start realization of the project from a study of the topographical preferences of large city residents. As main activities on this stage should be testing the main preliminary installations, improving the tools for collecting materials, building the parameters of the analysis in accordance with the first data received. As a result of this stage, the stage of practical verification of the theory, it is planned to get an idea of the preferences themselves and their motivators, to develop universal basic tools for identifying topographic preferences that are applicable for use in different cultures. The next stage should be the development of tools for studying the topographical preferences of migrants in order to identify the parameters that affect the choice of directions of migration flows. At this stage, it is planned to involve foreign colleagues to test methods, tools and hypotheses about the cross-cultural nature of mental maps and topographic representations. The published pre-project formulates the terminological apparatus of the planned project, indicates the markers of inclusion of toposes in mental maps, as well as factors affecting the configuration of the topographic hierarchy (a complex of topographic preferences).

Keywords

Topographical Preferences; Mental Map; Urban Trauma; Folklorization of Space; Center-Periphery



This work is licensed under a [Creative Commons "Attribution" 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Топографическая иерархия: междисциплинарное исследование ментального пространства в перспективе топографических предпочтений

Троицкий Сергей Александрович (a), Царев Алексей Олегович (b)

(a) Эстонский литературный музей. Тарту, Эстония. Email: sergei.troitskii[at]folklore.ee

(b) Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, Россия
 Email: ilovenewwave[at]mail.ru

Аннотация

Статья отличается от привычных научных статей, поскольку относится к нечасто публикуемому в журналах по социальным наукам, жанру препроекта. В нем содержатся результаты не исследования в целом, а его подготовительного этапа. Тщательная проработка гипотезы, научной проблемы, методов, границ исследования, а также возможности трансформации объекта и практическая применимость разрабатываются перед запуском исследовательского проекта и нуждаются в широком обсуждении со стороны коллег, не вовлечённых в исследование, особенно если проект претендует на глобальный охват. Данная статья как раз предлагает к обсуждению основные положения будущего исследовательского проекта, посвященного топографическим предпочтениям жителей различных регионов. Основной фокус в исследовании сделан на предпочтениях прежде всего жителей крупных городов, чтобы опробовать основные предварительные установки, усовершенствовать инструменты сбора материалов, выстроить параметры анализа в соответствии с первыми полученными данными. В результате этого этапа, этапа практической проверки теории планируется получить представление о самих предпочтениях и их мотиваторах, разработать универсальные базисные инструменты выявления топографических предпочтений, применимые для использования в условиях различных культур. Следующим этапом должна стать разработка инструментов исследования топографических предпочтений мигрантов, чтобы выявить параметры, влияющие на выбор направлений миграционных потоков. На этом этапе планируется привлечь иностранных коллег для проверки методов, инструментов и гипотезы о кросскультурном характере ментальных карт и топографических представлений. В публикуемом препроекте формулируется терминологический аппарат планируемого проекта, указываются маркеры включения топосов в ментальные карты, а также факторы, влияющие на конфигурацию топографической иерархии (комплекса топографических предпочтений).

Ключевые слова

топографические предпочтения; ментальная карта; городская травма; фольклоризация пространства; центр-периферия



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons "Attribution" \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Вступление

Данная статья является результатом подготовительной теоретической разработки основных исходных положений исследования топографических предпочтений субъекта и потому носит полемический характер, предполагающий комментарии от коллег и научную критику. Именно поэтому данный текст заметно отличается от других научных статей, нарушая специфику жанра. Прагматической задачей данного текста является постановка проблемы, описание возможных направлений ее решения, фиксация локальной проектной терминологии, утверждение и завершение нулевого этапа исследования. Поскольку планируемое исследование предполагает глобальные масштабы, участие иностранных коллег и, в идеале, формулировку самостоятельной теории, совмещающей «субъективность» индивидуальных предпочтений и «объективность» совокупного картирования как результат сложения индивидуальных результатов. Исследование основывается на достижениях различных дисциплин, но в конечном итоге может быть реализовано только как социологическое, используя качественные и количественные инструменты сбора конкретного материала и анализа. Сама предполагаемая теория представляется сейчас, на предварительном этапе как междисциплинарная, позволяющая производить методологические и теоретические инклюдии в различные общественные науки.

В общем виде концепция топографической иерархии (в рамках которой предлагается рассматривать заявленную тему) сформулирована нами в 2017, затем уточнялась и дорабатывалась (Троицкий, 2017; Троицкий, 2019) в исследованиях зон культурного отчуждения и пограничья (ЗКОП) (Троицкий, 2015; Troitskiy, 2018; Nikolayeva & Troitskiy, 2018), а затем – зон культурного отчуждения крупных городов (Троицкий, et al. 2018; Царев, 2019).

Исходным положением концепции топографической иерархии является гипотеза о том, что на уровне субъекта существует система предпочтений топосов, которая, часто неосознанно, формирует *ментальную карту* наиболее привлекательных географических точек, – приоритетных направлений для миграции. Однако, эта гипотеза нуждается в уточнении и раскрытии как в ходе теоретической работы по разработке концептуального аппарата, так и эмпирически путем полевого исследования системы предпочтений и механизмов функционирования топографической иерархии.

В связи с этим планируется сперва решить ряд теоретических задач с тем, чтобы перейти далее к прикладной части исследования. К теоретическим задачам относится разработка теории топографической иерархии как основы для определения локальной миграционной и строительной политики как внутри городов (элементарными единицами тогда являются микрорайоны или «места» как городские топосы), так и внутри страны (в качестве топосов здесь выступают сами города и поселения). На макроуровне глобальных надна-

циональных и / или надгосударственных систем (Европейский союз, континент, глобальные культурные локации – Средняя Азия, Дальний Восток и пр.) может применяться многоуровневый анализ топографической иерархии, где в качестве топосов может выступать на высоком уровне обобщения – топос-государство, но конкретизация уровней будет умельчать и элементарные единицы – топосы. Вместе с тем следует иметь в виду, что в представлении субъекта, топосы разного уровня обобщения могут сосуществовать как равные элементы сравнения, урбанонимы могут сопоставляться с макротопонимами (Нью-Йорк и Китай, например, или Невский проспект и Америка).

Одна из важных задач проекта выработать механизм исследования топографической иерархии, выявляющий карту предпочтений субъектов и культурные репутации топосов, которые могут учитываться при принятии административных решений, связанных, например, с миграцией или градостроительством. Это позволит действовать наиболее эффективно, точно реагировать на запросы гражданского общества со стороны власти, избегая конфликтов и социальной напряженности. Такая теория позволит работать с конкретными общественными настроениями относительно пространства города или региона. Эта теория позволит выявлять культурные стереотипы, связанные с тем или иным топосом (местом) и учитывать их в городском и / или городском планировании (зонировании), снимая или снижая конфликтность между властными и общественными институтами. Также эта теория позволит работать с миграционными потоками, прогнозируя миграционную (демографическую) нагрузку на регионы, топосы, районы, исходя из топографических предпочтений мигрантов. Для решения этих задач наиболее эффективно используются социологические методы сбора данных и их анализа. На первоначальном этапе для проверки и корректировки рабочей гипотезы наиболее подходит, как нам кажется, специально разработанный опросник, позволяющий выявить факторы, существенные для построения топографической иерархии, а также представить исследуемое пространство в виде карты ментальных предпочтений. Исследование должно дать важный результат – структуру топографических предпочтений внутри города, определит общественное мнение относительно городского зонирования, совпадают ли *общественные интересы и административные решения*; высветить конституирующую роль периферийных территорий в структуре топографической иерархии, а также в целом указать на диалектический характер отношения центр-периферия (в переосмысленном значении), скрывающий за собой комплекс обоюдных пространственных связей, инфраструктуры, антропологических и культурных практик, обосновывающих идеологически и прагматически существующее распределение экономических благ и власти.



Исследование пространства в перспективе городской географии

Интерес к той роли, которую играет пространство в социальных отношениях, неуклонно растет, начиная с 1980-х годов. Формирование исследовательских школ вокруг этого поля за рубежом во многом связано с постколониальным поворотом, инспирированным развитием критической теории. Постколониальная интерпретация территориального распределения власти восходит к трудам М. Фуко (Фуко, 2006а; Фуко, 2006b) и А. Лефевра (Лефевр, 2015), легших в основу таких исследовательских направлений как новая культурная география (Wiley 2018) и критическая география (Hubbard, et al., 2002).

Взаимная зависимость власти (как системы отношений) и ее фиксации в пространстве (топографии) позволили определить географию (науку) как «изучение борьбы за власть посредством введения феномена и события во время и пространство» (Nägerstrand, 1986, с. 43). Таким образом, благодаря Торстену Хагестранду география по сути рассматривается как философская дисциплина. География сближается не только с социологией, но и с историей. Такое сближение – своего рода возвращение к интеллектуальной традиции XVIII века с ее интересом к локальной истории (из нее вырастает краеведение с элементами локальной географии). Решение Хагестранда ввести в изучение пространства временной параметр позволило сделать предметом изучения географии прагматику событий, социальные изменения, влияние пространственного фактора (ограничение пространства) на изменения поведения и сущности субъекта. Модель время-географии позволяет отойти от социального конструктивизма и рассматривать человека не как пассивного субъекта, а как деятеля со своей жизненной траекторией (пространством-временем), в этом смысле географию по модели Хагестранда можно назвать субъектной. Неудивительно, что она совмещается, например, с аффективной феноменологией феминистской географии более поздних исследователей (Kwan, 2007; McQuoid & Dijst, 2012). Хагестранд утверждает, что изучение индивидуальных повседневных практик позволяет понять и объяснить более масштабные структуры (паттерны). Функциональный подход, демонстрирующийся этой школой, дает возможность сравнивать разноуровневые субъекты (например, государство и человека), исходя из их деятельностных функций (как акторов), которые не зависят от сложности и количества включенных элементов.

Марксистская география сыграла свою роль в становлении модели рассмотрения географических изменений в контексте социальных практик. Несмотря на то, что в рамках этого направления пространство поначалу понималось узко географически (как пространство фиксируемое картами), постепенно происходило расширение концептуального поля, что в свою очередь

позволило расширить понимание пространства и вывести дискуссию на новый уровень (радикальная география), во многом благодаря альтернативной трактовке в рамках феминистской критики классической модели географии и пространства, а также благодаря критике со стороны естественных наук, в частности, физики, использующей четырехмерную модель, в которой наблюдатель тоже оказывается включенным отдельным измерением (источником параметров). Такое включение, свойственное гуманитарным наукам изначально распространилось и на естественнонаучные дисциплины, в этом смысле, все науки оказались ближе друг к другу, чем когда-либо прежде, благодаря преодолению демаркации между пространством и временем в естественных науках (в науках о культуре это сделано теорией хронотопа). По мнению Дорин Мэсси (Massey, 1996, с. 69), важным результатом развития понимания пространства в четырехмерной модели стал отказ от плоскостности понимания его как цепи характеристик поверхности. Пространство в время-пространственной географии представляется как многоаспектная и многоуровневая система «плоскостей», определяющих и определяющихся поведением субъекта (человека, семьи, государства).

Однако наибольшее значение для дальнейшего исследования играет география эмоций (эмоциональная география), вырастающая на основе пространственно-временного подхода, с одной стороны, и различных освободительных стратегий в географии (феминистская, марксистская, радикальная и прочих), с другой. «Поскольку эмоции считались ненаучными, иррациональными, субъективными и женственными, они воспринимались как разрушающие объективную, маскулинную и научную природу генерирования знаний» (Rowland, 2014, с. 62). Поэтому вполне объясним интерес к эмоциям в географии только после того, как феминистская теория сняла условный запрет на них для исследователей, фактически обеспечив эмоциям эпистемологическое алиби. В результате, в 2000-х большое переформатирование всего гуманитарного дискурса связано было с интересом к аффективным проявлениям, поэтому и получило название «эмоционального поворота» в культурных исследованиях (Davidson, et al. 2007; Bondi, 2005; Моизи, 2010; Рагулина, 2017). Вместе с тем, можно констатировать, что как раз к 2000-х были выработаны методы работы с эмоциями, позволяющие включать их в научное знание без всяких оговорок. Однако следом за эмоциональным поворотом последовал «аффективный поворот» (Rowland, 2014; Николаи & Хазина, 2015), спровоцированный Найджелом Трифтом, который обратил внимание на недостаточность только эмоционального содержания. Указывая на большую роль спонтанных реакций и аффектов в поведении и принятии решений, он предлагал интерпретировать субъекты как тела, обладающие характеристиками физических проводников, передающих аффекты соседним телам (Thien, 2005; Thrift, 2004). Тогда аффекты могут быть изучены в перспективе исследования (городских) пространств, поскольку аффект «становится чем-то более похожим на сети



труб и кабелей, которые имеют такое важное значение для обеспечения базовой механики и основных структур городской жизни, [...] набора постоянно работающих реле и узлов, которые создают всевозможные эмоциональные истории и географии» (Thrift, 2004, с. 58). Подобная интерпретация в конечном итоге позволяет исследователю выявлять и анализировать факторы не только вербализируемые и рационализированные, но и существующие для субъекта бессознательно. В нашем исследовании мы привлекаем эмоциональную географию для понимания иррациональных мотиваторов топографических предпочтений (травматические переживания, подсознательных желаний и пр.) вдобавок ко вполне рациональным мотиваторам (работа, родственники, общая культура, знание языка и т.п.).

Центр и периферия в перспективе топографических предпочтений

Слабым местом постколониальной теории, поставившей проблему распределения власти в пространстве, остается принятие символического порядка, в котором центр и периферия определяются политически в смысле Фуко или в контексте административного деления. Поэтому нанесение на карту новых территорий, совершаемое как эмансипаторный жест, возможно только теми топосами, которые находятся в статусе центральных, что означает сохранение базового диспозитива «центр-периферия», в котором периферийный характер того или иного пространства оказывается непроявленным. Иными словами, теоретический дискурс, даже направленный против центра, только подтверждает и утверждает наличие иерархических отношений и акцентирован в первую очередь на том, что значит быть центром.

Однако признание себя периферией, принятие на себя этого статуса топосом означает закрепление за ним соответствующей культурной репутацией с ориентацией на центр, от которого ожидается первенство, доминирование. Центр выстраивается периферией. Даже если центр и не является фактическим законодателем (мод, правил, образцов), то периферия конструирует ситуацию такого законодательства. В этом смысле как центр, так и периферия – это культурные репутации, формирующих идентичности, «в которых растворены привычные понятия и образы жителей современных городов» (Троицкая, 2020, с. 347) и не только городов. Эссенциализм при исследовании пространства приводит к одностороннему акцентированию на практиках «центра» и экзотизации периферийных территорий до статуса квази-туземных (это, в частности, характерно для концепции внутренней колонизации А. Эткинда (2013)). Несмотря на сложившуюся научную традицию использовать в связке термины «центр» и «периферия» для указания на сущностные характеристики локаций, будь то экономическая география в изводе Дж. Фридмана (Friedmann, 1966) или мир-системный анализ Ф. Броделя (2006), А.Г. Франка

(Frank & Gills, 1994) или И. Валлерстайна (2001), мы понимаем отношение «центр/периферия» как ситуативное и контекстуальное – как часть языка описания субъекта, имеющего ментальную карту топографических предпочтений.

Современные исследователи фокусируются преимущественно на городском пространстве, включающем в себя и репутации места, поскольку оно, в отличие от негородского ярко выражено, легко вербализируется в сфере культурной/публичной репрезентации(?). Это обусловлено различными факторами, но все они связаны с отличиями деятельностных установок (активизм) у городского населения от сельского (Алексеевский, et al. 2010; Стась, 2020). Городская культура, в отличие от герметичной деревенской обращена вовне – туда, откуда город берет ресурс (миграционный, культурный и т. д.) для своего развития, поэтому наиболее активное население, стремящееся урбанизироваться, легко впитывается в городскую среду. Оно же и определяет особенности этой городской среды, принося собственные психологические, лингвистические, культурные черты, являющиеся основанием для корректировки имиджа (характера) города. Однако и в деревенской культуре все равно, возможно, менее ярко выражено, но существует представление о топографических предпочтениях, более того, в некоторых случаях она может быть Центром, например, для дауншифтеров.

Топографическая иерархия – это система взаимоотношений, которую мы будем описывать через дихотомию «центр/периферия», в которой статусы центра и периферии не являются строго зафиксированными за каким-либо топосом (топосами), а зависят от распределения функций. Также следует отметить, что наличие центростремительных и центробежных стремлений маркирует наличие топографической иерархии (системы топографических предпочтений).

Топографические предпочтения в ментальной карте

Политика «центра» предполагает формирование городского и, шире, внутригосударственного, пространства без учета особенностей представлений о конкретных топосах в культуре, т.е. без учета культурных репутаций топосов и определяемых культурными репутациями топографических предпочтений. Система таких ментальных представлений формирует у каждого субъекта собственную ментальную карту. Как правило, единство культурного опыта, норм, стереотипов и т.п. у субъектов, проживающих длительное время совместно, приводит и к совпадению ментальных карт и топографической иерархии (системы предпочтений).

Для выявления пространственных представлений на субъектном уровне и во избежание замены субъектных переживаний пространства на политические, идеологические, исследовательские и пр. ожидания Кевином Линчем (Lynch,



1960) был предложен метод описания пространства с помощью ментальных карт, сопоставляющий географические условия с действиями человека. В изображении города Линч использовал простые наброски карт городского района, созданных субъектом по памяти. Благодаря фокусировке на внутреннее переживание пространства субъектом, исследователь получает акцент на социальные факторы. Аффективная география показывает, как внутреннее переживание пространства превращается в «социальное», поскольку аффекты передаются к ближайшим телам как электрические разряды от проводников к проводникам (Thrift, 2004). Бин Ян утверждал, что образ города (или ментальная карта) возникает из масштабирования городских артефактов и локаций (Jiang, 2012).

Развивая методологию К. Линча, Хакен и Португали разработали информационный взгляд, который утверждал, что лицо города – это информация (Haken & Portugali, 2003), передающаяся через различные артефакты и включающая в себя «и “объективную” информацию в понимании Шеннона и «субъективную» семантическую информацию» (Portugali, 2011, с. 167)¹. Речь идет о вероятностной концепции информации К. Шеннона, согласно которой чем выше вероятность получить сообщение, тем менее оно информативно для получателя (Shannon 1948; Shannon, 1949). Таким образом, чем более неожиданным и новым является сообщение, тем больше оно будет усвоено. Такая аффективная составляющая коммуникации, заключенная в неожиданности и новизне, позволяет артефактам представляться Местами в городе. В результате такого сочетания «объективной» и «субъективной» информации оказывается, что общие принципы организации пространства города несут меньше информации о нем, чем локальная уникальная символическая информация (Portugali, 2011, с. 185-186), делающая город неповторимым и освоенным на ментальном уровне, на уровне ментальных карт.

Как правило, исследование городского пространства (и в целом жизненного пространства субъекта) не учитывает комплекс субъектных представлений о пространстве, стереотипов, предрассудков, распределения ценностей между топосами, культурных репутаций и т.п., влияющему на систему предпо-

1 В качестве объяснения, что они имеют в виду под таким сочетанием, авторы приводят конкретные примеры, в которых «объективный» уровень сведен к тому, как место представляется геометрически, а «субъективный» – к тому, какая семантика в нем заключена: «Балкон Джульетты в Вероне, на котором, согласно пьесе Шекспира, Джульетта стояла и разговаривала с Ромео, является главной точкой отсчета в Вероне не из-за его выдающейся геометрии или даже из-за его истории, а из-за истории, связанной с ним. То же самое можно сказать о Виа Долорос в Старом городе Иерусалима или Бодхгайе в северной Индии; говорят, что дерево Бо, растущее там, является прямым потомком первоначального дерева, под которым сидел Будда, когда он был впервые просветлен. Каждый из этих элементов, конечно, имеет геометрию: мемориал Рабина и балкон Джульетты – это точки, Виа Долорос – это дорога, в то время как Бодхгая – это геометрически то, что Линч назвал «районом». Но то, что делает такие элементы ориентирами, путями, краями и узлами, – это не их геометрия и внешний вид, а значение, придаваемое им – их семантический вид, если хотите» (Portugali, 2011, с. 170).

чтений и, наоборот, отчуждения топосов. Исходное положение для исследования факторов, определяющих топографическую иерархию, сводится к тому, что на зонирование пространства влияют культурные стереотипы. Однако как их выявить?

Ментальная топография как география мест

Субъектность как исходная установка исследования задает и форму, в которой может быть представлены результаты: мы изучаем субъекта, его желания, стремления, предпочтения, с тем чтобы, соединив индивидуальные показатели, получить обобщенный образ пространства, в котором обитают субъекты. Поэтому одним из важных методологических ходов нашего исследования является выявление культурной репутаций места, т.е. идеологической конструкции, собирающей значимые точки пространства в жизненное пространство субъекта. Благодаря такому подходу можно построить ментальные карты, при объединении которых мы сможем получить представление о городской среде как среде обитания субъектов.

При таком взгляде проблема толкования пространства получает феноменологическое измерение, указывающее на то, как субъект укоренен в пространстве. Другими словами, феноменологическая география оказывается единственным источником методологических установок для рассмотрения пространства через призму «места», которое в отличие от предыдущей традиции приобретает новое определение, что изменяет и исследовательские стратегии в отношении пространства в целом. Теперь «место — это скорее объективные и субъективные связи человека с частью пространства, «делающие» его местом, чем его географические координаты» (Скопина, 2013, с. 67). Такое представление о месте позволяет работать с ментальными картами, которые не отражают все топосы, но фиксируют значимые для субъекта точки пространства, т.е. места. Они в глазах субъекта обладают собственным «лицом», значение, а значит, и для субъекта становятся источником идентичности. Однако, чем являются в этом случае те топосы, о которых принято думать, что они обладают значением, но при этом в ментальной карте субъекта не отражены? В соответствии с определением Марка Оже, можно назвать их не-местами («Если место может быть определено как создающее идентичность, формирующее связи и имеющее отношение к истории, то пространство, не определяемое ни через идентичность, ни через связи, ни через историю, является не-местом» (Оже, 2017), но Оже стремится с помощью этих, казалось бы, противоположных терминов «место» и «не-место», все-таки установить сущностные характеристики самой точки пространства, найти в этих характеристиках способность этой точки (места или не-места) наделять идентичностью субъекта. В этом смысле неспособность не-места быть источником идентичности для субъекта является таким же активным признаком конкретной



точки пространства, как и способность места быть таковым, а вовсе не отсутствием признака, как это происходит с ментальными картами. Иными словами, позиционирование того или иного топоса в качестве места или, напротив, не-места отдается на откуп субъекту. В этом смысле отсутствие топоса не делает его не-местом по факту, более того, историю, которая принимается в качестве достаточного основания для определения места в концепциях Оже или Нора (Оже, 2017; Nora, 1984; Нора, 1999)¹, следует признать проблемным понятием, которое, вероятно, корректнее было бы именовать личным опытом, далеко не всегда осознаваемым. а В то же время *предки*, следы которых, согласно Оже, должны определять место, оказываются не представлены в ментальной карте, кроме тех случаев, когда смерть конкретного предка ощущалась как значимая (или целенаправленно и рационально возводилась в статус значимой) и была связана с конкретной точкой пространства. Субъект, вынужденный выводить из неосознаваемых глубин психики значимые для него места на карту, пусть и на индивидуальную, превращая их в «ментальные топосы» (более корректный в этом случае термин, чем «места»), тем самым приобретает себя, осознает себя, идентифицирует себя как укорененного в пространстве. Не указанные субъектом точки пространства, но являющиеся «местом» или «не-местом», т.е. обладающие топографической значимостью, хотя и не значимые для субъекта, можно обозначать как «пустоты» (Троицкая, 2020), но поскольку из-за графического совпадения с привычным обозначением отсутствия это может вызвать путаницу, мы предлагаем называть их «ментальные купюры», а неосознанное игнорирование при ментальном картировании значимых для социума «мест» – «ментальным купированием» пространства.

«Места» приобретают свою идентичность, свои характеристики для субъекта благодаря культурной репутации, но актуализируются (становятся явными для субъекта) в ментальной карте они постольку, поскольку предполагают (возможное) передвижение в них или из них как самого субъекта, так и значимого для него Другого. Например, в случае страха перед Чужим, который закреплен в представлении субъекта за конкретным топосом, страхом, аналогичным архаической боязни чужого-сильного, выраженной в фольклоре (Троицкий, 2011). Одним из способов преодоления страха является освоение этого чужого пространства, включения его в собственную ментальную карту. Это, конечно, частный случай мотивации учесть место при ментальном картировании и мотивации к путешествию, но нас интересует движение (миграция) в общем своем свойстве делать точки пространства видимыми, делать их местами. Неудивительно, что «пространственная метафора завладела воображением социальных ученых столь прочно, что сегодня трудно найти работу на тему мигрантов в городе, в которой не фигурировали бы слова 'пространство' и 'территория'» (Малахов, 2020, с. 562). Фокус, который часто предполагается

1 Антропологическое место Марк Оже противопоставляет «местам памяти» Пьера Нора.

при исследовании миграции, отличается от нашего, поскольку мы намеренно и последовательно отказываемся от эссенциалистского подхода при изучении пространства, показывая значимые места именно в связи с субъектом, для которого они значимы. Поэтому мы усматриваем причины предпочтений тех или иных мест, исходя не из каких-либо сущности самой точки пространства, а исходя из того, что она стала местом для субъекта, исходя из того, что субъект ощущает какой-либо топос как место притяжения или место предпочтения.

В случае с ментальными картами уровень топографической конкретности может не соблюдаться при соотнесении между акцентированными местами, т.е. на одной карте может быть предельно конкретная точка пространства, например, место проживания (годоним или агороним), и достаточно абстрактный макротопоним, например, Европа, Восток или что-то подобное, которые для субъекта являются одинаково актуальными¹. Однако кажется важным при создании исследовательских инструментов (опросник, сценарий интервью и т.п.) все-таки соблюдать единство уровня конкретности. С другой стороны, при всестороннем обследовании субъекта на предмет предпочтений можно пренебречь различиями между механизмами формирования и влияния на поведение субъекта его топографической иерархии на разных уровнях конкретности, что позволит распространить результаты исследования механики предпочтений топосов внутри города на общегосударственные или, скажем, на общеевропейские. Это объясняет, почему мы предполагаем в качестве первого этапа исследовать городскую среду, ментальную карту города у жителей, как коренных, так и приехавших недавно.

Здесь возникает проблема соотношения границ внутри города и границ между государствами, поскольку в первом случае эти границы условны и существуют, скорее, как рубежи (boundaries), которые не всегда можно даже точно установить, то вторые – четко установленные, находящиеся под охраной, в любой момент способные закрыться границы (borders), являющиеся часто еще и границами между порядками (культурами) (Ульрих & Троицкий, 2019). Для преодоления и тех и других требуется решимость, но совершенно различной силы. Однако мы изучаем не миграцию, а топографическую иерархию, т.е. то, как места выстраиваются по степени предпочтений, поэтому именно в данном фокусе различия границ теряют свои различия.

1 В пьесе А.Н. Островского «За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Балзаминова)» сон Балзаминовой прекрасно иллюстрирует, как работает механизм наделяния абстрактных концептов конкретным (значимым для субъекта) содержанием, преимущественно построенный на ассоциациях с известными субъекту конкретными явлениями: «Только за мостом — вот чудеса-то! — будто Китай. И Китай этот не земля, не город, а будто дом такой хороший, и написано на нем: «Китай». Только из этого Китая выходят не китайцы и не китайки, а выходит Миша и говорит: «Маменька, подите сюда, в Китай!» Вот будто я собираюсь к нему идти, а народ сзади меня кричит: «Не ходи к нему, он обманывает: Китай не там, Китай на нашей стороне». Я обернулась назад, вижу, что Китай на нашей стороне, точно такой же, да еще не один. А Миша будто такой веселый, пляшет и поет: «Я поеду во Китай-город гулять!»»



В связи со всем этим важность приобретают те методы, которые позволяют определить значимые места, т.е. кажется необходимым выявить, какие механизмы наделяют значимостью на субъектном уровне наиболее эффективны.

«Захваченный» город¹: подготовленность инфраструктуры

Миграция, побочный продукт перераспределения капитала, направлена в те точки пространства, куда направлены финансовые потоки, при этом чем менее конкретным является представление о приоритетном топосе, тем менее точным является попадание в место, куда эти потоки направлены. И это касается не только мигрантов внешних (из других государств), но и внутренних (из других регионов своего государства), и вполне справедлив призыв «снять этнические очки» (Малахов, 2020, с. 564) в отношении миграции, а противопоставление местное население – мигранты (понаехавшие) является очень условным, потому что кого отнесут к категории местных, «а кого из нее исключат, зависит от того, какие агенты социального поля обладают символической властью, позволяющей навязать определенное видение «общества» (Малахов, 2020, с. 565).

Как бы там ни было, намеренная социальная локализация мигрантов («они носители другой культуры») приводит к перестройке и геттоизации привычного пространства, что способствует и перераспределению значимости конкретных топосов для субъектов, однако, как показывают исследования российских городов, там по различным причинам специфических этнических гетто не формируется (Малахов, 2020), то же и с другими элементами мигрантской инфраструктуры. Очень быстрая перекройка социальных страт на стыке 1980-1990-х, отсутствие «среднего» класса, особенности жилищной приватизации и различные ограничения, связанные в том числе и с сохранением культурно-исторического облика российских городов, не способствовала появлению расслоению городского пространства по экономическому признаку, а различия между районами весьма условны. Другими словами, жилой фонд «для бедных» размазан по всему городу, а не сконцентрирован в конкретных его частях, что не способствует геттоизации. Тем не менее, существуют места с наиболее сложившейся мигрантской инфраструктурой – культовые сооружения, национальные места памяти, рынки. Здесь общественные пространства осваиваются мигрантами наиболее эффективно, о чем свидетельствует визуальный ландшафт вокруг этих локаций (Григоричев, 2020, с. 599–600). Хотя говорить о том, что иммигранты – это единственные Другие (Чужие) в городе, не корректно. Пространство и способ функционирования города построен на анонимности, благодаря которой даже «коренные» жители, т.е. потомки мигрантов из деревень или других городов, выступают

1 Термин из работы П. Григоричева (2020).

как незнакомцы. «Города принято называть местом, где встречаются незнакомцы, где они остаются вблизи друг друга и где они взаимодействуют друг с другом на протяжении долгого времени, не переставая при этом оставаться незнакомцами» (Бауман, 2008, с. 26).

Процесс освоения пространства и маркировка его свойственен всем социальным группам и субкультурам, и не только в городах. Однако видимость маркеров освоенности пространства конкретной социальной группой в визуальном ландшафте прямо пропорциональна отличиям этой группы от всех остальных («аборигенов»). В контексте исследования топографической иерархии привлекательность конкретной точки пространства зависит от степени ее освоенности социальной группой, к которой принадлежит субъект, поскольку места коммуникации (культовые постройки, места памяти, узлы потребления) этой группы организуют ее существование, а значит, обеспечивают центростремительную тенденцию вокруг себя. При ментальном картировании эти значимые для социальной группы, к которой принадлежит субъект, места с необходимостью проявляются (фиксируются) в качестве значимых, привлекательных, в качестве Центров. Так, города, в которых наибольшая национальная диаспора привлекают еще большее количество представителей этой национальности по сравнению с городами, где такая диаспора не сложилась. Важным для исследователя результатом является выявление процессов маркировки пространства как непосредственно на местах – что дает возможность другим субъектам опознавать пространство как наделенное семантическими значениями, – так и, например, в языке, тоже производя разметку вокруг себя. Процесс маркировки, которая позволяет выявить значимые места для субъекта, а значит, и зафиксировать факт формирования пространственных предпочтений (значимых мест), мы называем фольклоризацией, поскольку маркировка производится, а результаты маркировки распространяются между субъектами, как элементы (пост)фольклора, поэтому и являются, как правило, объектом исследования фольклористов.

Фольклоризация

Поскольку мигрируют, как правило, наиболее активные, а терять им в месте иммиграции нечего, они наиболее нацелены на результат, а потому именно они наиболее кардинально и наиболее быстро меняют социальный и пространственный ландшафт, подстраивая его под себя и изменяя его снова и снова по мере изменения статуса (ассимиляции, например). Эти изменения отражаются и в топонимике, и в топографической иерархии, т.е. ранее совершенно не притягательное место со сменой статуса его обитателей может стать, наоборот, приоритетным для субъекта, возглавить локальную (в пределах региона) топографическую иерархию. В ментальной карте эти изменения также отражаются, поскольку важным маркером переоценки значимости мест



является их переназывание в повседневном обиходе. Некоторые данные приезжими в ходе освоения пространства названия усваиваются социумом и становятся общеупотребимыми.

Освоение нового пространства для приезжих является одной из важных задач, связанных с адаптацией, но результаты освоения всегда находят отражение в представлениях и в языке. Процессы переосмысления мифов места (топонимические легенды и предания) (Кравцов & Лазутин, 1983; Соколова, 1972; Бунчук, 1998; Трубе & Пономаренко, 1969), наделения новыми мифами уже имеющихся топонимов, формирования неофициальной топонимики являются обычными не только для приезжих, но и для местных жителей. Диалектная фразеология с топографическими компонентами, как и городская мифология (топонимические легенды), которая обычно находит отражение в неофициальной топонимике (Подюков, 2015), является поэтому одним из маркирующих эффективность освоения пространства, как близкого, так и далекого, а потому абстрактного. В процессе ассимиляции приезжих, обмена результатами культуротворчества неофициальные топонимы, или регионимы (Шарипова, 2012)¹, созданные приезжими, иногда с утилитарными целями приспособить имеющиеся названия к собственным фонетическим нормам, остаются в повседневной речевой практике в качестве как неофициальных, так и позже – официальных топонимов. «Люди придумывают неофициальные топонимы для того, чтобы иметь свои местные ориентиры. Как правило, регионимы возникают стихийно. При передаче из уст в уста они либо приживаются в речевом узусе, либо видоизменяется в процессе речи» (Шарипова, 2012, с. 204), распространяясь по мере превращения их из локальных названий в общеупотребимые внутри региона. Как правило, неофициальные топонимы могут соперничать по частотности употребления с официальными, являясь в то же время маркером того, что точка пространства является местом, значима для субъектов независимо от уровня конкретности объектов: это может быть микротопоним (конкретное заведение или постройка) (Абдрахманова, 2017), а может быть улица или район (например, в Ленинграде 1980-х можно было услышать в одной фразе «Сайгон» (кафетерий) и Купчино (район города) или Северо-Запад (часть города), употребляемые как однопорядковые урбонимы). Это происходит потому, что топонимика имеет отношение «к реализации языковой картины мира» (Горбаневский, 1996, с. 7), в которой подобная разноразноуровневость в прагматике топонимов вполне нормальна и показывает имеющуюся ментальную разметку территории в соответствии со значимостью, с представлением о местах и не местах. Неофициальная топонимика доста-

1 Терминологическая проблема в отношении этих топонимов стоит достаточно остро. Например, термин псевдотопонимы, который в работе Л. Успенского «Загадки топонимики» (Успенский, 1969) используется для описания неофициального топонима Муффрика, придуманного голландцами для обозначения Ганновера, в некоторых других исследованиях приобретает значение «географические объекты (в основном реки и названные их именами территории), на реальной карте не существующие», т.е. в значении квазитопонимов, да еще и авторство термина приписывается Д. Ревякину (Сухих, 2008).

точно хорошо изучена на материале (крупных) городов (Химик, 2000; Ахметова, 2011), хотя и встречается везде, где живут люди.

В нашем исследовании кажется важным отметить факт освоения пространства с помощью стихийного называния, поскольку регионимы – верный признак значимости места для конкретного субъекта, включенности топонима в жизненные траектории субъекта, а значит, и в ментальную карту. Кроме того, они сохраняют в себе определенную логику языка, построенную не только на синтактике, но и на прагматике речевых практик.

Фольклоризация пространства отчасти происходит с помощью механизмов юмора. Например, неофициальная топонимика очень часто строится на удачных фонетических совпадениях, создающих комический эффект, и являющихся соединяющим звеном между мифом места, культурной репутацией и самой точкой в пространстве. Однако только (пост)фольклорная перспектива далеко не исчерпывает способов освоения пространства, превращения точек в места, значимые для субъекта. Включение в ментальную карту этих мест возможно благодаря постоянной актуализации культурной репутации места, частотности упоминания топонима, узнаваемости. Попадание топоса в юмористический текст (не обязательно фольклорный) позволяет ему быть узнаваемым, влиять на формирование топографической иерархии с его участием. Функционирование его в юмористическом тексте и влияние юмористического осмысления топоса может быть объектом самостоятельного исследования, как с использованием инструментов фольклористики и этнографии, так и применением исследовательских стратегий социологии, культурологии и литературоведения. Например, комический фокус, делающийся в музыкальной культуре, создает определенную репутацию места, высвечивая его характеристики, давно ставшие стереотипными интерпретации вдруг приобретают новое значение, что может как положительно, так и отрицательно сказаться на оценке места субъектом, хотя прямой корреляции юмористической интерпретации и негативизации топоса нет.

Юмористическая, и не только юмористическая, маркировка мест может производиться и в виде создания непосредственно меток на плоскостях, как правило, стен зданий и заборах, в виде граффити (Voolaid, 2013; Voolaid, 2012; Annuk & Voolaid, 2020). Граффити содержат в себе множество разноплановой информации, в первую очередь, о субъекте, его создавшем, а во вторую, – о зрителях, в том числе и о пространственных представлениях их обоих.

Факторы, влияющие на конфигурацию топографической иерархии

Исследователь, отмечая наличие маркеров мест, которые свидетельствуют о значимости точек пространства для субъекта, тем не менее, не воспринимает их как причины для выделения того или иного места в каче-



стве значимого. Маркеры, скорее свидетельствуют о том, что процесс становления топографической иерархии совершился. Однако для нас важны факторы, способствующие выделению субъектом того или иного места в качестве предпочтительного или, наоборот, отталкивающего. Одной из задач исследования является выявление подобных факторов.

На наш взгляд, одним из таких факторов являются заимствованные от авторитетных источников пространственные стереотипы. Готовая чужая ментальная карта родителей, учителей очень часто служит основой для ментальной разметки пространства ребенком. Разметка пространства, производящаяся с помощью фольклоризации, фиксируется в культуре и передается как совокупность сложившихся представлений, выражаемых в качестве культурной репутации каждого из мест. Превращающиеся в стереотипы, эти представления воспринимаются как географические факты и выступают как существенные факторы, определяющие конфигурацию ментальной карты и топографической иерархии, особенно в процессе заимствования готовых ментальных карт от авторитетных для субъекта носителей (родителей, наставников и т.п.). Если в процессе творческого осмысления пространства, в процессе его разметки субъект может влиять на конфигурацию, может принять точку в качестве места, но может и не принимать, может влиять на содержание локального мифа, изменять его, то в случае заимствования стереотипов изменения их не производятся, они принимаются как готовые легитимированные нормы, определяющие способ интерпретации пространственных элементов. Тогда юмористический акцент выступает как существенный фактор отказа или принятия оценки места в ходе заимствования пространственных стереотипов и содержащихся в них культурных репутаций (L'Hoeste, 1998).

Еще один фактор – виктимальная культурэкономия, являющаяся основой для травматической разметки ментального пространства современного носителя европейской культуры (Troitskiy, 2021). Травматическая разметка, в силу своей неочевидности, как нам кажется нуждается в специальном разборе, поэтому следующий параграф мы посвятим ей. Нам кажется очевидным, что травматические установки формируют самостоятельный уровень ментальной карты, влияют на жизненные траектории и стратегии поведения субъекта, могут совершенно не совпадать с заимствованными пространственными стереотипами, о которых речь шла выше.

В ходе исследования важно выявить и другие факторы, определяющие конфигурацию ментальной карты и топографической иерархии.

Факторы, влияющие на конфигурацию топографической иерархии: городская травма

Уже упоминавшиеся места памяти (Nora, 1984; Нора, 1999) служат организующими центрами для соответствующей социальной группы, предполагают наличие соответствующей инфраструктуры, благодаря которой они являются привлекательными как точки стремления, как топографически приоритетные места, включенные в ментальную карту субъекта. Однако город является поликультурным пространством, легко подстраиваемым под складывающиеся условия, позволяющим сосуществовать разным местам памяти и трансформирующим собственное тело (городское пространство) в соответствии с этими мемориальными технологиями собирания коллективностей.

Мемориальная значимость дестинации может быть основанием для реализации туристического потенциала и построения соответствующей инфраструктуры, в том числе и «темного» туризма (Kidron, 2013; Kidron, 2012). Отдельного внимания в контексте исследования топографической иерархии требует городская травма как фактор, влияющий на топографические предпочтения. Городская травма здесь может пониматься двояко. Во-первых, в контексте культурной (исторической) травмы (Ansem, et al. 2020; Aquilué, et al. 2014), к которой как раз и относятся места памяти в топографии, и которая собирает и упорядочивает индивидуальные памяти в один мемориальный комплекс, определяющий город как целое, создающий его уникальное «лицо со шрамом». Во-вторых, городская травма может быть осмыслена не диахронически (ретроспективно), а синхронически, как проблема современного города, как источник травматического беспокойства (Бауман, 2008).

Жители города чувствуют себя живущими в «одержимом страхом и паникой обществе» (Бауман & Донскис, 2019, с. 16), но размазанный во времени и пространстве страх – это беспокойство. Травматический потенциал городских пространств обеспечивается существованием *инфраструктуры беспокойства* как необходимого условия городской травмы во втором ее понимании. Она нуждается в отдельном исследовании, поэтому здесь мы очень вкратце очертим содержание этого концепта. Под инфраструктурой беспокойства мы понимаем совокупность явлений, которые обеспечивают актуальностью городскую травму, поддерживают беспокойство, выступают все вместе как единая система, взаимодействуя между собой, зачастую случайно, но присутствие их вместе запускает реакцию беспокойства (сирена и мигалка, отсутствие освещения, лифт с незнакомцем внутри, социальная реклама, телевизионные ролики об опасностях, новости, которые названы «индустрией страха» (Бауман & Донскис, 2019, с. 16), городские слухи и пр.). Инфраструктура беспокойства является самовоспроизводимой системой, например, городские легенды вызывают беспокойство, но одновременно с этим и передаются, чтобы выступать усилителями беспокойства у других (Архипова & Кирзюк,



2020). Оставленная на помойке сумка не вызывает беспокойства, но та же сумка, оставленная в лифте или в метро, порождает приступ паники (Запорожец & Лавринец, 2008, с. 83-103). И дело не в сумке, а в соединении ее с другим событием, которое выступает как катализатор. Возможно, инфраструктура беспокойства – это элемент не всех пространств, а не-мест (Запорожец & Лавринец, 2008, с. 85-89).

Оба толкования городской травмы сходятся в толковании ее как заботы о себе, воплощаемой в заботе о молчащем (неслышимом) Другом¹. В первом случае это замолчавшие жертвы, за которых о травматическом опыте должны говорить потомки, а во втором – это молчащие живые жертвы, вместо которых должны говорить потенциальные жертвы. Травматический нарратив, таким образом, может быть сведен к выражению «Никогда больше», к обеспечению неповторимости травматического опыта, а в перспективе заботы о себе – обеспечению собственной безопасности. Инфраструктура городской травмы (как мемориальная, так и инфраструктура беспокойства) позволяет сохранять активность травматического воздействия на субъектов. Такой результат достигается с помощью ритуалов² и нарративных практик (Spelman 2008), связанных с конкретным объектом инфраструктуры и обеспечивающих его идентичным содержанием, которое со времени может изменяться³, но при этом сохранять травматическую основу, «призраков» (Hetherington & Degen, 2001; Till, 2005, с. 5-24) травмы.

Подход к изучению городской травмы, по мнению Марии Лугонес, должен учитывать топографический аспект и работать с телесной реальностью (ощущениями), поэтому она называет его «пешеходным» («pedestrian»), хотя для нее важно, чтобы этот подход был вообще главенствующим в социальных науках, поскольку он предполагает множественность Других, которые нуждаются в понимании, не теряя своей дружости. В связи с этим, «пешеходный» взгляд – это «перспектива изнутри людей, изнутри слоев отношений, инсти-

- 1 Практики заботы о себе как заботы о Другом носят политически значимый характер еще с античности (Фуко, 1998).
- 2 Эмма Жаннет Роуланд, обращаясь к концепции управления эмоциями Хочшилда (Hochschild, 1979), указывает на три аспекта, которые можно назвать стратегиями работы с эмоциями (здесь используется терминология «драматического подхода» Ирвина Гоффмана): «когнитивный, актёбы думают о том, как они должны себя чувствовать, и соответствующим образом меняют свои чувства, воплощенный, актёр пытается контролировать физические реакции на эмоции и, выразительный, принимает выражение лица, чтобы изменить внутренние чувства» (Rowland, 2014, с. 49). Последний из этих трех, а именно выразительная стратегия строится на механическом приучении тела к эмоции, чтобы из внешнего выражения извлечь глубинную эмоцию. Как нам кажется, такая стратегия приложима и к травматическим ритуалам, которые приучают тела к соответствующей эмоциональной реакции на раздражитель (см., напр. Johnson, et al. 1995). Вероятно, в этом кроется и секрет лечения посттравматического стрессового расстройства с помощью архаических ритуалов (Schultz & Weisæth, 2015; Cole, 2004). С той же целью приучения к соответствующей эмоции используется ритуал и в качестве травматической инфраструктуры (Sodaro, 2018; Kirschenbaum, 2006)
- 3 Изменения в интерпретации городской травмы связаны, в первую очередь, с трансформацией индивидуальной(ых) памяти(ей), вернее, с тем, как реактуализируется в рассказе каждый новый раз травматический опыт. Рассказ, который соединяет прошлое и будущее жертвы травмы (Antze, 1996)

тутов и практик» (Lugones, 2003, с. 5). Похожий подход за 100 лет до аргентинской философии предложил российский ученый Иван Михайлович Гревс (экскурсионный подход, основанный на идеографическом методе), предполагая, что понимание культуры невозможно без ощущений, привлечения всех органов чувств (Гревс, 1910; Гревс, 1921; Гревс, 1903): «Пособниками для истолкования того, что говорят вещественные памятники прошлого, являются природа и люди; ландшафт и топография, рельеф и одежда земли, ее дары, солнце, воздух, горы и море,— с одной стороны, открывают фон искомой картины, современное население многими пережитками прошлого в нынешнем его быту оживляет, с другой, окаменелости вековой старины» (Гревс, 1910, с. 27). Однако Гревс, в отличие от Лугонес, предлагал постигать не живых Других в городе, а город как целое через его артефакты, пытаясь понять и услышать предыдущие поколения, уже умершие. Благодаря этому город предстает как пористая, сложная и неоднородная система, не встраивающаяся в линейность темпорального взгляда на построение места, а наоборот, доступного только этнографическому слуху, улавливающему обрывки различных свидетельств, мнений, индивидуальных памятей (Till, 2005). Неудивительно, что для изучения городской травмы в значении культурной травмы используется экскурсионный подход И.М. Гревса, а для описания городской травмы как источника травматического беспокойства – «пешеходный» взгляд М. Лугонес.

Оба толкования городской травмы имеют непосредственное влияние на формирование топографической иерархии. И если мемориальная инфраструктура, часто реализуемая как туристическая, способствует снижению травматического воздействия и содержания на субъектном уровне, и при этом, повышается привлекательность объекта, вокруг которого эта инфраструктура организована (место памяти) – играет роль узнаваемости объекта, финансовые потоки, и пр., – то инфраструктура беспокойства, наоборот, способствует включению точки в пространстве в ментальную карту, но уже в качестве неприемлемой для стремлений, т.е. как центра отрицательной топографической иерархии.

Структура и методология предполагаемого исследования

Дальнейшая работа предполагает многоуровневое и междисциплинарное исследование, состоящее из нескольких условных частей. Фундаментальная часть, направленная на построение цельной теории топографической иерархии (системы топографических предпочтений) опирается на методы разработанные в рамках исследований пространства, пограничных и фронтирных исследований, философии города и урбанистики. Привлекается дискурс-анализ, контент-анализ. В качестве исходных для субъектного уровня теории используются теория ментальных карт и картирования пространства, заимствованные из литературоведения, а также концепция «культурных репу-



таций» как формы восприятия субъектом объекта на основании культурных конвенций и/или в результате коммуникативных практик. Также важное значение играют методы разработанные в рамках теории Зон культурного отчуждения и пограничья (ЗКОП) для выявления вытесненного, неявного культурного опыта. Уровень социологического и культурологического анализа - субъектный.

Для практической части исследования планируется применять социологические методы сбора информации - опрос (анкетирование), а также интервью. Научная идеология опроса ориентируется на результаты исследований зон культурного отчуждения крупных городов.

В отношении нашего проекта необходимо соотнести зарубежные теоретические наработки с актуальными для России пространственными практиками. Дело не только и не столько в отмеченном Мудиной Тлостановой (Тлостанова, 2020) отставании российского академического дискурса сколько в том, что само дисциплинарное деление науки с соответствующими достаточно строгими границами между дисциплинами, а также стратегия научной работы, выстроенная в соответствии с этими границами, заметно отличается на всем постсоветском пространстве от американского и / или западноевропейского образца. В связи с этим важной составляющей проекта является работа по выработке компромиссного варианта инструментальной части, позволяющего получить максимально полные данные, поэтому так важно участие иностранных коллег.

Обе части проекта, условно разделенные для удобства описания в заявке на теоретическую и практическую содержат в себе огромный потенциал как для дальнейших научных исследований, так и для практического применения. Первая, теоретическая часть включает в себя целый комплекс задач, а потому и ожидаемых результатов. Среди них первое по значимости - теоретическая проработка и подробное описание топографической иерархии (комплекса топографических предпочтений), механизмов формирования ее и факторов, ее определяющих. В результате теоретической работы участников проекта должна быть выработана конкретная теория топографической иерархии, включающая в себя

- исторический анализ топографической иерархии в культуре Нового времени и факторов, формирующих культурные репутации топоса (места) как формы символического наделения ценностью;
- социологический анализ процессов формирования системы топографических предпочтений
- описание маркеров топографической иерархии в культуре, с помощью которых можно выявить значимость того или иного топоса (места) для субъекта (индивидуального и коллективного)

- определение механизмов формирования современных топографических предпочтений

Другим важным результатом теоретической части проекта будет социологический анализ топографических предпочтений современной петербургской молодежи как конкретизация общей теории топографической иерархии в рамках определенной локации (Санкт-Петербург). Это позволит опробовать теоретические наработки на практике. В качестве основной аудитории для исследования выбраны старшие школьники как, с одной стороны, активная, самостоятельная группа, которая уже через год-два будет лично влиять на многие политические, экономические, демографические, культурные процессы, а с другой, сохраняющая еще ценности, предпочтения и стереотипы своих родителей и других близких родственников более старшего поколения. В качестве способа исследования выбран сплошной опрос, что позволит учесть различные вариации во мнениях и взглядах и захватить различные культурные группы. Такое конкретное исследование позволит скорректировать первоначальные установки, гипотезу, как на уровне конкретного исследования, так и на уровне универсальной теории.

Если говорить о практической части исследования, являющейся неотъемлемой от теоретической части, а именно, о самом опросе, то в результате всей практической работы должна выкристаллизоваться форма опросника для выявления топографических предпочтений внутри города. Эта форма может быть использована в других исследованиях в других городах и, в принципе, должна быть применима на разных уровнях обобщения (внутри района, внутри города, внутри региона, внутри страны, внутри Европейского или Евразийского союза и т.п.). Данная форма опросника может быть адаптирована к другим (не российским) языковым и культурным особенностям с тем, чтобы выявить сходные процессы в других странах.

В качестве целей исследования мы наметили следующие:

1. Выявить и описать топографическую иерархию как культур-антропологический фактор, определяющий расселение и миграцию в индустриальном и постиндустриальном обществе
2. Выявить факторы, влияющие на степень привлекательности места (топоса)
3. Выявить различные маркеры топографических предпочтений (языковой, фольклорный, юмористический и пр.). Маркеры, которые свидетельствуют об «освоении» места, боязни каких-то топосов, культурного вытеснения из ментальной карты, высмеивания и др.
4. Определить механизмы изменения культурной репутации топоса (места).



Заключительные заметки

Представленный в данной статье предпроект является результатом подготовительной работы. Амбициозные цели проекта предполагают большую предварительную работу, особенно по проработке гипотезы и методологической базы. Учитывая, что проект предполагает апробацию результатов на материале различных культур, важно создать унифицированный инструментальную основу для адаптации инструментов исследования (опросник, сценарий интервью) под конкретную культурную ситуацию, национальные особенности и пр., для работы в разных регионах мира. Авторы очень надеются на живой отклик у коллег и особенно на конструктивную критику!

Список литературы

- Annuk, E., & Voolaid, P. (2020). Soolisuse esitamine Eesti grafitis ja tänavakunstis [The Representation of Solace in Estonian Graphic Art and Street Art]. *Methis Studia humaniora Estonica*, 26, 109–136. <https://doi.org/10.7592/methis.v2i26.16913> (In Estonian)
- Ansem, N. van, David, L., Eekhout, C. van, Leijnse, M., Mellendijk, S., & Oost, K. (2020). Remembering Urban Trauma: St Petersburg and Nijmegen in the Second World War. *Corpus Mundi*, 1(2), 122–159. <https://doi.org/10.46539/cmj.v1i2.16>
- Antze, P. (1996). Telling Stories, Making Selves: Memory and Identity in Multiple Personality Disorder. In P. Antze & M. Lambek (Eds.), *Tense past: Cultural essays in trauma and memory* (pp. 3–24). Routledge.
- Aquilué, I., Lekovic, M., & Ruiz Sánchez, J. (2014). Urban Trauma and Self-organization of the City. Autopoiesis in the Battle of Mogadishu and the Siege of Sarajevo. *Urban, (Ejemplar Dedicado a: New Urban Languages. Rethinking Urban Ideology in Post-Ideological Times)*, 8–9, 63–76.
- Bondi, L. (2005). Making connections and thinking through emotions: Between geography and psychotherapy. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 30(4), 433–448. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2005.00183.x>
- Cole, J. (2004). Painful Memories: Ritual and the Transformation of Community Trauma. *Cult Med Psychiatry*, 28, 87–105. <https://doi.org/10.1023/B:MEDI.0000018099.85466.c0>
- Davidson, J., Bondi, L., & Smith, M. (Eds.). (2007). *Emotional Geographies*. Ashgate.
- Frank, A. G., & Gills, B. (Eds.). (1994). *The World System: Five Hundred Years or Five Thousand?* Routledge.
- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. MIT Press.
- Hägerstrand, T. (1986). Om geografins kärnområde [About the core area of geography]. *Svensk Geografisk Årsbok*, 62, 38–43. (In Swedish).
- Haken, H., & Portugali, J. (2003). The face of the city is its information. *Journal of Environmental Psychology*, 23(4), 385–408. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(03\)00003-3](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(03)00003-3)
- Hetherington, K., & Degen, M. (2001). Hauntings. *Space and Culture*, 10(4), 1–6.

- Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social-structure. *American Journal of Sociology*, 85(3), 551–575. <https://doi.org/10.1086/227049>
- Hubbard, P., Bartley, B., Fuller, D., & Kitchin, R. (2002). *Thinking Geographically: Space, Theory and Contemporary Human Geography*. Continuum.
- Jiang, B. (2012). The image of the city out of the underlying scaling of city artifacts or locations. *Annals of the Association of American Geographers*, 103(6), 1552–1566. <https://doi.org/10.1080/00045608.2013.779503>
- Johnson, D. R., Feldman, S. C., Lubin, H., & S.M, S. (1995). The therapeutic use of ritual and ceremony in the treatment of post-traumatic stress disorder. *Journal of Traumatic Stress*, 8(2), 283–298. <https://doi.org/10.1002/jts.2490080209>
- Kidron, C. A. (2012). Breaching the wall of traumatic silence: Holocaust survivor and descendant person-object relations and the material transmission of the genocidal past. *Journal of Material Culture*, 17(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/1359183511432989>
- Kidron, C. A. (2013). Being There Together: Dark Family Tourism and the Emotive Experience of Copresence in the Holocaust Past. *Annals of Tourism Research*, 41, 175–194. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.12.009>
- Kirschenbaum, L. A. (2006). *The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, Memories, and Monuments*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511511882>
- Kwan, M.-P. (2007). Affecting geospatial technologies: Toward a feminist politics of emotion. *The Professional Geographer*, 59(1), 22–34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9272.2007.00588.x>
- L’Hoeste, H. (1998). From Mafalda to Boogie: The City and Argentine Humor. In E. Bueno & T. Caesar (Eds.), *Imagination Beyond Nation: Latin American Popular Culture* (pp. 81–106). University of Pittsburgh Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt5hjp98.7>
- Lugones, M. (2003). *Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition against Multiple Oppressions*. Rowman & Littlefield.
- Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. MIT Press.
- Massey, D. (1996). Politics and Space/Time. *New Left Review*, 196, 65–84.
- McQuoid, J., & Dijst, M. (2012). Bringing emotions to time geography: The case of mobilities of poverty. *Journal of Transport Geography*, 23, 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.03.019>
- Nikolayeva, Zh., & Troitskiy, S. (2018). An Introduction to Russian and International Studies of Cultural Exclusion Zones. An Analytical Overview of Recent Concepts. *Rivista Di Estetica*, 67(LVIII), 3–19. <https://doi.org/10.4000/estetica.2482>
- Nora, P. (1984). *Les lieux de mémoire. 1: La République*. Gallimard.
- Portugali, J. (2011). *Complexity, Cognition and the City, Understanding Complex Systems*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-19451-1>
- Rowland, E. (2014). *Emotional geographies of care work in the NHS*. Royal Holloway University of London. (Doctoral Thesis).
- Schultz, J.-H., & Weisæth, L. (2015). The power of rituals in dealing with traumatic stress symptoms: Cleansing rituals for former child soldiers in Northern Uganda. *Mental Health, Religion & Culture*, 18(10), 822–837. <https://doi.org/10.1080/13674676.2015.1094780>



- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Techn J*, 27, 379–423, 623–656. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.x>
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.
- Sodaro, A. (2018). *Exhibiting Atrocity. Memorial Museums and the Politics of Past Violence*. Rutgers University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1v2xskk>
- Spelman, E. V. (2008). Repair and the scaffold of memory. In P. E. Steinberg & R. Shields (Eds.), *What is a city? The urban after Katrina* (pp. 140–154). University of Georgia Press.
- Thien, D. (2005). After or beyond Feeling? A Consideration of Affect and Emotion in Geography. *Area*, 37(4), 450–454. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2005.00643a.x>
- Thrift, N. (2004). Intensities of feeling: Towards a spatial politics of affect. *Geografiska Annaler Series B*, 86, 57–78. <https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00154.x>
- Till, K. E. (2005). *The new Berlin: Memory, politics, place*. University of Minnesota Press.
- Troitskiy, S. (2018). The Problem of Terminological Precision in Studies on Cultural Exclusion Zones. *Rivista di Estetica*, 67(LVIII), 165–180. <https://doi.org/10.4000/estetica.2772>
- Troitskiy, S. (2021). Trauma and the Victim Economy. *Folklore*, 82, 14–28.
- Voolaid, P. (2012). In graffiti veritas: A Paremic Glance at Graffiti in Tartu. *Estonia and Poland: Creativity and Change in Cultural Communication, 1 Jokes and humour*, 237–268. <https://doi.org/10.7592/EP.1.voolaid>
- Voolaid, P. (2013). Täägin, järelikult olen olemas. Paröömiline pilguheit Tartu grafitile [I'm talking, therefore I exist. A paroeic glimpse of Tartu graphite]. *Mäetagused*, 53, 7–38. <https://doi.org/10.7592/MT2013.53.voolaid> (In Estonian)
- Wylie, J. W., & Cebster, C. (2018). Eyeopener: Drawing landscape near and far. In *Transactions of the Institute of British Geographers* (pp. 1–42). <https://doi.org/10.1111/tran.12267>
- Абдрахманова, Т. М. (2017). Локальная топонимика: Структурно-семантический и мотивационный анализ. *Молодой ученый*, 14(148), 681–683.
- Алексеевский, М. Д., Ахметова, М. В., & Лурье, М. Л. (2010). Исследования города. *Антропологический форум*, 12, 16–25.
- Архипова, А., & Кирзюк, А. (2020). *Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР. Новое литературное обозрение*.
- Ахметова, М. В. (2011). Русская неофициальная топонимия: Генезис и узус. *Вестник РГТУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология*, 9(71), 228–237.
- Бауман, З. (2008). Город страхов, город надежд. *Логос*, 3(66), 24–53.
- Бауман, З., & Донскис, Л. (2019). *Текущее зло: Жизнь в мире, где нет альтернатив*. Издательство Ивана Лимбаха.
- Бродель, Ф. (2006). *Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Весь мир*.
- Бунчук, Т. Н. (1998). Роль топонимических преданий в этимологии топонима. В В. Г. Костомаров (Ред.), *Общие проблемы преподавания языков: Преподавание русского языка финно-угорской аудитории: Тезисы Международной научно-методической конференции* (с. 23–24). Сыктывкарский государственный университет.

- Валлерстайн, И. (2001). *Анализ мировых систем и ситуация в современном мире*. Университетская книга.
- Горбаневский, М. В. (1996). *Русская городская топонимия: Методы историко-культурного изучения и создания компьютерных словарей*. ОЛРС.
- Гревс, И. М. (1903). *Научные прогулки по историческим центрам Италии: I. Очерки флорентийской культуры*. Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко.
- Гревс, И. М. (1910). К теории и практике «экскурсий» как научного изучения истории в университетах. (Поездка в Италию со студентами в 1907 г.). *ЖМНП. Новая серия*, XXVIII, 21–64.
- Гревс, И. М. (1921). Монументальный город и исторические экскурсии. (Основная идея образовательных путешествий по крупным центрам культуры). *Экскурсионное дело*, 1, 21–34.
- Григоричев, К. В. (2020). «Неправильные» китайцы и «захваченный» город: Оспаривание городского пространства как выработка практик взаимодействия с Другим. *Журнал исследований социальной политики*, 18(4), 593–608.
- Запорожец, О., & Лавринец, Е. (2008). Драматургия городского страха: Риторические тактики и «бесхозные» вещи. В Н. Милерюс & Б. Коуп (Ред.), *P.S. Ландшафты: Оптики городских исследований. Сборник научных трудов* (с. 83–103). ЕГУ.
- Кравцов, Н. И., & Лазутин, С. Г. (1983). *Русское устное народное творчество*. Высшая школа.
- Лефевр, А. (2015). *Производство пространства*. Strelka Press.
- Малахов, В. С. (2020). От сообществ к пространству: Исследуя изменения городской среды под влиянием миграций. *Журнал исследований социальной политики*, 18(4), 561–576. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2020-18-4-561-576>
- Моизи, Д. (2010). *Геополитика эмоций. Как культуры страха, унижения и надежды трансформируют мир*. Московская школа политических исследований.
- Николаи, Ф. В., & Хазина, А. В. (2015). История эмоций и «аффективный поворот»: Проблемы диалога. *Диалог со временем*, 50, 97–115.
- Нора, П. (1999). *Франция-память*. Издательство Санкт-Петербургского университета.
- Оже, М. (2017). *Не-места. Введение в антропологию гипермодерна*. Новое литературное обозрение. <https://www.libfox.ru/680712-mark-ozhe-ne-mesta-vvedenie-v-antropologiyu-gipermoderna.html>
- Подюков, И. А. (2015). Символика топонимических отсылок в народной фразеологии. *Социо- и психолингвистические исследования*, 3, 41–43.
- Рагулина, М. В. (2017). Геополитика и география эмоций: Проблема субъективности. *Общество: политика, экономика, право*, 11, 28–31. <https://doi.org/10.24158/pep.2017.11.6>
- Скопина, М. В. (2013). Феномен «Места» и «Не-места» в постиндустриальном городе. *Вестник МГСУ*, 1, 66–71. <https://doi.org/10.22227/1997-0935.2013.1.66-71>
- Соколова, В. К. (1972). Типы восточнославянских топонимических преданий. В Б. Н. Путилов & В. К. Соколова (Ред.), *Славянский фольклор* (с. 202–233). Наука.
- Стась, И. (2020). Исследования городских идентичностей в исторической урбанистике Сибири. *Quaestio Rossica*, 8(5), 1807–1821.



- Суших, М. П. (2008). Псевдотопонимы в поэтической картине мира Д. Ревякина. В Д. Н. Багрецов & М. А. Литовская (Ред.), *Слово—Текст—Смысл: Сборник студенческих научных работ* (Т. 3, сс. 137–139). Уральский государственный университет.
- Тлостанова, М. (2020). Постколониальный удел и деколониальный выбор: Постсоциалистическая медиация. *Новое литературное обозрение*, 1(161), 66–84.
- Троицкая, А. А. (2020). Маркируя место: Роль пустых пространств в ментальных границах города (на примере устья реки Смоленки). *Журнал Фронтирных Исследований*, 4, 344–381. <https://doi.org/10.46539/jfs.v5i4.243>
- Троицкий, С. А. (2011). Образ «чужого—Сильного» в народной культуре. *Вече: Журнал русской философии и культуры*, 22, 224–231.
- Троицкий, С. А. (2015). Проблема терминологической точности при изучении зон культурного отчуждения. *Новое Литературное Обозрение*, 133, 66–75.
- Троицкий, С. А. (2017). Синтаксис утраты. *Studia Culturae*, 2(32), 160–172.
- Троицкий, С. А. (2019). Конструкт травмы как основа для формирования топографической иерархии. *Неприкосновенный Запас*, 1(123), 123–131.
- Троицкий, С. А., Николаева, Ж. В., & Царев, А. О. (2018). Проблемы идентичности в зонах культурного отчуждения городской среды. *Studia Culturae*, 3(37), 92–111.
- Трубе, Л. Л., & Пономаренко, Г. М. (1969). Наивная этимология и фольклор в топонимии. В В. Ф. Барашков & В. А. Никонов (Ред.), *Ономастика Поволжья. Материалы I Поволжской конференции по ономастике* (сс. 182–185). Институт языкознания АН СССР, Ульяновский государственный педагогический институт им. И.Н. Ульянова.
- Ульрих, П., & Троицкий, С. (2019). Сложность «границ»: Постановка проблемы, терминология и классификация. *Журнал Фронтирных Исследований*, 4(2), 234–256. <https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10035>
- Успенский, Л. (1969). *Загадки топонимики. «Молодая гвардия».*
- Фуко, М. (1998). *Забота о себе. История сексуальности* (Т. 3). Дух и Литера.
- Фуко, М. (2006а). Другие пространства. В *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью*. Ч. 3 (сс. 191–204). Праксис.
- Фуко, М. (2006б). Пространство, знание и власть. В *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью*. Ч. 3 (сс. 215–236). Праксис.
- Химик, В. В. (2000). *Поэтика низкого, или городское просторечие как культурный феномен*. Филологический факультет СПбГУ.
- Царев, А. О. (2019). Городское пространство в российской хип-хопе: Зоны отчуждения и его преодоления. *Неприкосновенный запас*, 5, 132–143.
- Шарипова, О. А. (2012). Неофициальные топонимы как подсистема языка города. *Ярославский педагогический вестник. Гуманитарные науки*, 4(1), 203–206.
- Эткинд, А. (2013). *Внутренняя колонизация. Имперский опыт России*. Новое литературное обозрение.

References

- Abdrakhmanova, T. M. (2017). Local Toponymy: Structural-Semantic and Motivational Analysis. *Young Scientist*, 14(148), 681–683. (In Russian).
- Akhmetova, M. V. (2011). Russian Unofficial Toponymy: Genesis and Usus. *Bulletin of the Russian State University of Humanities. Series: Literary Studies. Linguistics. Culturology*, 9(71), 228–237. (In Russian).
- Alekseevsky, M. D., Akhmetova, M. V., & Lurie, M. L. (2010). Studies of the city. *Anthropology Forum*, 12, 16–25. (In Russian).
- Annuk, E., & Voolaid, P. (2020). Soolisuse esitamine Eesti grafitis ja tänavakunstis [The Representation of Solace in Estonian Graphic Art and Street Art]. *Methis Studia humaniora Estonica*, 26, 109–136. <https://doi.org/10.7592/methis.v2i26.16913> (In Estonian)
- Ansem, N. van, David, L., Eekhout, C. van, Leijnse, M., Mellendijk, S., & Oost, K. (2020). Remembering Urban Trauma: St Petersburg and Nijmegen in the Second World War. *Corpus Mundi*, 1(2), 122–159. <https://doi.org/10.46539/cmj.v1i2.16>
- Antze, P. (1996). Telling Stories, Making Selves: Memory and Identity in Multiple Personality Disorder. In P. Antze & M. Lambek (Eds.), *Tense past: Cultural essays in trauma and memory* (pp. 3–24). Routledge.
- Aquilué, I., Lekovic, M., & Ruiz Sánchez, J. (2014). Urban Trauma and Self-organization of the City. Autopoiesis in the Battle of Mogadishu and the Siege of Sarajevo. *Urban, (Ejemplar Dedicado a: New Urban Languages. Rethinking Urban Ideology in Post-Ideological Times)*, 8–9, 63–76.
- Arkhipova, A., & Kirzyuk, A. (2020). *Dangerous Soviet Things: Urban Legends and Fears in the USSR*. New Literary Review. (In Russian).
- Auger, M. (2017). *Non-Place. Introduction to the Anthropology of Hypermodernity*. New Literary Review. <https://www.libfox.ru/680712-mark-ozhe-ne-mesta-vvedenie-v-antropologiyu-gipermoderna.html> (In Russian).
- Bauman, Z. (2008). City of Fears, City of Hopes. *Logos*, 3(66), 24–53. (In Russian).
- Bauman, Z., & Donskis, L. (2019). *Ongoing Evil: Living in a World with No Alternatives*. Ivan Limbach Publishers. (In Russian).
- Bondi, L. (2005). Making connections and thinking through emotions: Between geography and psychotherapy. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 30(4), 433–448. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2005.00183.x>
- Brodel, F. (2006). *Material Civilization, Economy, and Capitalism, 15th and 18th Centuries*. Ves Mir. (In Russian).
- Bunchuk, T. N. (1998). The role of toponymic legends in the etymology of the toponym. In V. G. Kostomarov (Ed.), *General Problems of Teaching Languages: Teaching Russian to Finno-Ugric Audiences: Abstracts of the International Scientific and Methodological Conference* (pp. 23–24). Syktyvkar State University. (In Russian).
- Cole, J. (2004). Painful Memories: Ritual and the Transformation of Community Trauma. *Cult Med Psychiatry*, 28, 87–105. <https://doi.org/10.1023/B:MEDI.0000018099.85466.c0>
- Davidson, J., Bondi, L., & Smith, M. (Eds.). (2007). *Emotional Geographies*. Ashgate.



- Etkind, A. (2013). *Domestic Colonization. The Imperial Experience of Russia*. *New Literary Review*. (In Russian).
- Foucault, M. (2006a). Other spaces. In *Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches, and Interviews. Part 3* (pp. 191–204). Praxis. (In Russian).
- Foucault, M. (1998). *Self-care. A History of Sexuality* (Vol. 3). Spirit and Literature. (In Russian).
- Foucault, M. (2006b). Space, Knowledge, and Power. In *Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches, and Interviews. Part 3* (pp. 215–236). Praxis. (In Russian).
- Frank, A. G., & Gills, B. (Eds.). (1994). *The World System: Five Hundred Years or Five Thousand?* Routledge.
- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. MIT Press.
- Gorbanevsky, M. V. (1996). *Russian Urban Toponymy: Methods of Historical and Cultural Studies and Computer Dictionaries*. OLRIS. (In Russian).
- Grevs, I. M. (1910). To the theory and practice of “excursions” as the scientific study of history in universities. (Trip to Italy with students in 1907). *ZhMNP. New Series*, XXVIII, 21–64. (In Russian).
- Grevs, I. M. (1921). The Monumental City and Historical Excursions. (The Basic Idea of Educational Journeys to Major Centers of Culture). *Excursion services*, 1, 21–34. (In Russian).
- Grews, I. M. (1903). *Scientific walks through the historical centers of Italy: I. Essays on Florentine culture*. Type-lithography of the Partnership I. H. Kushnerrev & Co. (In Russian).
- Grigorichev, K. V. (2020). The “Wrong” Chinese and the “Captured” City: Challenging Urban Space as the Development of Practices of Interaction with the Other. *Journal of Social Policy Research*, 18(4), 593–608. (In Russian).
- Hägerstrand, T. (1986). Om geografins kärnområde [About the core area of geography]. *Svensk Geografisk Årsbok*, 62, 38–43. (In Swedish).
- Haken, H., & Portugali, J. (2003). The face of the city is its information. *Journal of Environmental Psychology*, 23(4), 385–408. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(03\)00003-3](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(03)00003-3)
- Hetherington, K., & Degen, M. (2001). Hauntings. *Space and Culture*, 10(4), 1–6.
- Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social-structure. *American Journal of Sociology*, 85(3), 551–575. <https://doi.org/10.1086/227049>
- Hubbard, P., Bartley, B., Fuller, D., & Kitchin, R. (2002). *Thinking Geographically: Space, Theory and Contemporary Human Geography*. Continuum.
- Jiang, B. (2012). The image of the city out of the underlying scaling of city artifacts or locations. *Annals of the Association of American Geographers*, 103(6), 1552–1566. <https://doi.org/10.1080/00045608.2013.779503>
- Johnson, D. R., Feldman, S. C., Lubin, H., & S.M, S. (1995). The therapeutic use of ritual and ceremony in the treatment of post-traumatic stress disorder. *Journal of Traumatic Stress*, 8(2), 283–298. <https://doi.org/10.1002/jts.2490080209>
- Khimik, V. V. (2000). *Poetics of the Low, or Urban Prose as a Cultural Phenomenon*. Faculty of Philology, St. Petersburg State University. (In Russian).

- Kidron, C. A. (2012). Breaching the wall of traumatic silence: Holocaust survivor and descendant person-object relations and the material transmission of the genocidal past. *Journal of Material Culture*, 17(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/1359183511432989>
- Kidron, C. A. (2013). Being There Together: Dark Family Tourism and the Emotive Experience of Copresence in the Holocaust Past. *Annals of Tourism Research*, 41, 175–194. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.12.009>
- Kirschenbaum, L. A. (2006). *The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941-1995: Myth, Memories, and Monuments*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511511882>
- Kravtsov, N. I., & Lazutin, S. G. (1983). *Russian oral folklore*. High School. (In Russian).
- Kwan, M.-P. (2007). Affecting geospatial technologies: Toward a feminist politics of emotion. *The Professional Geographer*, 59(1), 22–34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9272.2007.00588.x>
- L'Hoeste, H. (1998). From Mafalda to Boogie: The City and Argentine Humor. In E. Bueno & T. Caesar (Eds.), *Imagination Beyond Nation: Latin American Popular Culture* (pp. 81–106). University of Pittsburgh Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt5hjp98.7>
- Lefebvre, A. (2015). *Space production*. Strelka Press. (In Russian).
- Lugones, M. (2003). *Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition against Multiple Oppressions*. Rowman & Littlefield.
- Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. MIT Press.
- Malakhov, V. S. (2020). From Communities to Spaces: Exploring Urban Environmental Change Under the Influence of Migration. *Journal of Social Policy Research*, 18(4), 561–576. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2020-18-4-561-576> (In Russian).
- Massey, D. (1996). Politics and Space/Time. *New Left Review*, 196, 65–84.
- McQuoid, J., & Dijst, M. (2012). Bringing emotions to time geography: The case of mobilities of poverty. *Journal of Transport Geography*, 23, 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.03.019>
- Moisi, D. (2010). *The Geopolitics of Emotion. How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope Transform the World*. Moscow School of Political Studies. (In Russian).
- Nicolai, F. V., & Khazina, A. V. (2015). The History of Emotion and the “Affective Turn”: Problems of Dialogue. *Dialogue with Time*, 50, 97–115. (In Russian).
- Nikolayeva, Zh., & Troitskiy, S. (2018). An Introduction to Russian and International Studies of Cultural Exclusion Zones. An Analytical Overview of Recent Concepts. *Rivista Di Estetica*, 67(LVIII), 3–19. <https://doi.org/10.4000/estetica.2482>
- Nora, P. (1984). *Les lieux de mémoire. 1: La République*. Gallimard.
- Nora, P. (1999). *France-memory*. St. Petersburg University Press. (In Russian).
- Ouspensky, L. (1969). *Toponymic riddles*. Young Guard. (In Russian).
- Podyukov, I. A. (2015). Symbolism of toponymic references in folk phraseology. *Sociological and Psycholinguistic Studies*, 3, 41–43. (In Russian).
- Portugali, J. (2011). *Complexity, Cognition and the City, Understanding Complex Systems*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-19451-1>
- Ragulina, M. V. (2017). Geopolitics and Geography of Emotions: The Problem of Subjectivity. *Society: Politics, Economics, Law*, 11, 28–31. <https://doi.org/10.24158/pep.2017.11.6> (In Russian).



- Rowland, E. (2014). *Emotional geographies of care work in the NHS*. Royal Holloway University of London. (Doctoral Thesis).
- Schultz, J.-H., & Weisæth, L. (2015). The power of rituals in dealing with traumatic stress symptoms: Cleansing rituals for former child soldiers in Northern Uganda. *Mental Health, Religion & Culture*, 18(10), 822–837. <https://doi.org/10.1080/13674676.2015.1094780>
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Techn J*, 27, 379–423, 623–656. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.x>
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.
- Sharipova, O. A. (2012). Unofficial toponyms as a subsystem of the language of the city. Yaroslavl Pedagogical Bulletin.. *Humanities*, 4(1), 203–206. (In Russian).
- Skopina, M. V. (2013). The Phenomenon of “Place” and “Non-Place” in the Postindustrial City. *MSCU Bulletin*, 1, 66–71. <https://doi.org/10.22227/1997-0935.2013.1.66-71> (In Russian).
- Sodaro, A. (2018). *Exhibiting Atrocity. Memorial Museums and the Politics of Past Violence*. Rutgers University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1v2xskk>
- Sokolova, V. K. (1972). Types of the East Slavic toponymic legends. In B. N. Putilov & V. K. Sokolova (Eds.), *Slavic Folklore* (pp. 202–233). Nauka. (In Russian).
- Spelman, E. V. (2008). Repair and the scaffold of memory. In P. E. Steinberg & R. Shields (Eds.), *What is a city? The urban after Katrina* (pp. 140–154). University of Georgia Press.
- Stas, I. (2020). Studies of Urban Identities in Historical Urbanism in Siberia. *Quaestio Rossica*, 8(5), 1807–1821. (In Russian).
- Sukhikh, M. P. (2008). Pseudotoponyms in the poetic picture of the world by D. Revyakin. In D. N. Bagretsov & M. A. Litovskaya (Eds.), *Word-Text-Sense: A Collection of Students' Research Papers* (Vol. 3, pp. 137–139). Ural State University. (In Russian).
- Thien, D. (2005). After or beyond Feeling? A Consideration of Affect and Emotion in Geography. *Area*, 37(4), 450–454. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2005.00643a.x>
- Thrift, N. (2004). Intensities of feeling: Towards a spatial politics of affect. *Geografiska Annaler Series B*, 86, 57–78. <https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00154.x>
- Till, K. E. (2005). *The new Berlin: Memory, politics, place*. University of Minnesota Press.
- Tlostanova, M. (2020). Postcolonial Fate and Decolonial Choice: Post-Socialist Mediation. *New Literary Review*, 1(161), 66–84. (In Russian).
- Troitskaya, A. A. (2020). Marking a Place: the Role of Void Spaces in the Mental Boundaries of a City (on the Example of the Smolenka River Mouth). *Journal of Frontier Studies*, 4, 344–381. <https://doi.org/10.46539/jfs.v5i4.243> (In Russian).
- Troitskiy, S. (2018). The Problem of Terminological Precision in Studies on Cultural Exclusion Zones. *Rivista di Estetica*, 67(LVIII), 165–180. <https://doi.org/10.4000/estetica.2772>
- Troitskiy, S. (2021). Trauma and the Victim Economy. *Folklore*, 82, 14–28.
- Troitskiy, S. A. (2015). The Problem of Terminological Accuracy in the Study of Cultural Exclusion Zones. *New Literary Review*, 133, 66–75. (In Russian).
- Troitskiy, S. A. (2011). The Image of the “Alien Strong” in the Folk Culture. *Veche: Journal of Russian Philosophy and Culture*, 22, 224–231. (In Russian).

- Troitsky, S. A. (2017). Syntax of loss. *Studia Culturae*, 2(32), 160–172. (In Russian).
- Troitsky, S. A. (2019). Trauma construct as a basis for topographic hierarchy formation. *Untouchable Stock*, 1(123), 123–131. (In Russian).
- Troitsky, S. A., Nikolaeva, Zh. V., & Tsarev, A. O. (2018). Problems of Identity in the Zones of Cultural Alienation of the Urban Environment. *Studia Culturae*, 3(37), 92–111. (In Russian).
- Trube, L. L., & Ponomarenko, G. M. (1969). Naive etymology and folklore in toponymy. In B. F. Barashkov & V. A. Nikonov (Eds.), *Onomastics of the Volga Region. Proceedings of the I Volga Region Conference on Onomastics* (pp. 182–185). Institute of Linguistics of the Academy of Sciences of the USSR, Ulyanovsk State Pedagogical Institute named after I. N. Ulyanov. (In Russian).
- Tsarev, A. O. (2019). Urban Space in Russian Hip-Hop: Zones of Alienation and its Overcoming. *Untouchable stock*, 5, 132–143. (In Russian).
- Ulrich, P., & Troitsky, S. (2019). The Complexity of «Borders»: Research Agendas, Terminology and Classification. *Journal of Frontier Studies*, 4(2), 234–256. <https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10035> (In Russian).
- Voolaid, P. (2012). In graffiti veritas: A Paremic Glance at Graffiti in Tartu. *Estonia and Poland: Creativity and Change in Cultural Communication*, 1 Jokes and humour, 237–268. <https://doi.org/10.7592/EP.1.voolaid>
- Voolaid, P. (2013). Täägin, järelikult olen olemas. Paröömiline pilguheit Tartu grafitile [I'm talking, therefore I exist. A paroeic glimpse of Tartu graphite]. *Mäetagused*, 53, 7–38. <https://doi.org/10.7592/MT2013.53.voolaid> (In Estonian)
- Wallerstein, I. (2001). *Analysis of World Systems and the Situation in the Modern World*. University Book. (In Russian).
- Wylie, J. W., & Cebster, C. (2018). Eyeopener: Drawing landscape near and far. In *Transactions of the Institute of British Geographers* (pp. 1–42). <https://doi.org/10.1111/tran.12267>
- Zaporozhets, O., & Lavrinets, E. (2008). Dramaturgy of urban fear: Rhetorical tactics and “derelict” things. In N. Milerius & B. Cope (Eds.), *P.S. Landscapes: Optics of Urban Research. A collection of scientific papers* (pp. 83–103). EGU. (In Russian).